

*Оглянись, неизвестный прохожий,
Мне твой взгляд неподкупный знаком,
Может, я это, только моложе...
Не всегда мы себя узнаем.*

Николай Добронравов

ПОВЕСТЬ ПЕРВАЯ

ОТПЛЫТИЕ

1

Осмелюсь утверждать: всемирные сдвиги — кроме, конечно, войн, — совершаются незаметно, вкрадчиво, будто незримый вершитель передвигается во времени и пространстве, надев мягкие домашние тапочки. Вот ведь жажнул разрыв над страной, умер Сталин, и все сперва напугались новой войны, а потом, через месяц-другой, подуспокоились, а тут выпускные экзамены в школах, вечера с аттестатами, танцы с девчонками — своими и приглашенными, и выбор будущего — без особых примерок. Ходят рассуждения про хороших инженеров — везде нужны! — значит, надо подавать в политехнический. Только город выбери правильно.

Наша школа дружно присягнула Ленинграду. Лишь избранные собрались в Москву. Я не только восток избрал, а и профессию почти никому непонятную, с сомнением.

2

Все это, вместе взятое, конечно, ни на какие сдвиги не намекало. Но опытный батяня сказал, что это только так кажется и мы присутствуем при великом переселении народов, вызванном войной. Так что, заметил он, у нас с мамой легкомысленные представления о действительности и на вокзале стоят недельные очереди. Поезда даже мимо нашего довольно приметного города идут проходящие, забытые народом — что от Москвы на Восток, что с Востока на Москву, и надо сильно подумать, как засунуть меня в такой пробегающий мимо

поезд. Который и остановится-то у нас, самое большее, минут на двадцать.

Положение казалось безвыходным, но скоро мама сообщила, что еще не все потеряно, а у нашей лучшей знакомой тети Лены есть еще знакомые, а у тех знакомых — знакомый Герой Советского Союза.

— И что? — настороженно удивилась бабушка.

— Да Героям-то билеты дают без очереди, — сказал отец, понимающий толк в деле. — Только как он прорвется к кассе? Знаете что там творится?

Сказать по правде, с военных времен жизнь менялась отчаянно быстро и не всегда понятно в какую сторону. Я знал, что станционный перрон как всегда чист и прибран — встречающих туда пускали по билетам перронным, а отъезжающих — по билетам проездным. Но как теперь выглядел сам вокзал? Что там происходило?

Мы не поленились, и слегка приодевшийся отец, мама и я поехали на троллейбусе до вокзала. Как только вышли, надежда моя обессиленно зашаталась.

Одноэтажный наш вокзал был до войны нарядно белым, а теперь, к пятидесяти третьему, оказался двухцветным. Со стороны путей, я знал, все по-прежнему, гляделось сносно. Но городская сторона, где был вход в билетный зал, до пояса посерела. Я не сразу дотумкал, что это его обтерли человеческие спины и, наверное, бока, люди стояли, прижавшись к вокзальной стене, и к ней требовалось прислоняться по двум причинам — от усталости и для того, чтобы не протолкнуться, не пропер, не продавил какой-нибудь безочередный нахалюга.

Люди стояли впритык друг к другу и занимали всю привокзальную площадь. Но это был кажущийся хаос. Когда мы подошли к тем, кто находился с краю, нам объяснили, что тут два хвоста.

Один — желающих уехать к Москве, и он — коротче, другой, длиннее, на Восток. Но и в нем есть свои особенности. До Перми народу больше, но уезжают быстрее — чаще идут поезда, до Урала народа много, потому что там пересадки на юг и север, но на эти же

поезда садятся и пермские. И уже совсем, отчего-то, много пассажиров на самый что ни на есть Дальний Восток.

Мама удивилась этому, а худой мужчина в гимнастерке без погон и медалей пояснил, что на Восток едет много людей из мест западнее, южнее, севернее Москвы, сперва съезжаются туда, берут билеты на дальние поезда, и тогда редкий пассажир сойдет у нас. Прямо беда! Ведь чтобы кто-то сел, надо, чтобы другой-то сошел! Этому дядьке требовалось во Владивосток, и он стоял тут третью ночь.

Разве не переселение народов?

3

И вот мама с отцом собрались в гости к Герою.

Мама культурно обернула газеткой магазинную бутылку, отец нарезал неказистых цветов.

Поскрипывая сапогами и покачиваясь в неразношенных подочках, они удалились, а к вечеру возникли почти счастливыми.

Мама обтерла чемодан, с которым отец вернулся из Маньчжурии, выставила его на ступ посреди комнаты, а бабушка затряслась и схватилась за подбородок, сдерживая слезы.

— Ну? — воскликнул отец. — Едет не на каторгу!

Отправляться мне предстояло назавтра, договоренность с Героем достигнута накануне, а расписание поездов, которое мама переписала на вокзале синим толстым карандашом, было испещрено крестиками и галочками.

Герой за мою отправку брался, но поскольку работал на заводе хотя и небольшим каким-то, но все же начальником, отлучиться почти на целый день мог только в воскресенье.

Завтра и было это воскресенье. А следующее наступало через неделю. Вызов на экзамены, пришедший мне в виде половинки странички в шершавом конверте, назначал дату явки на промежуток между двумя выходными.

Будто колокол грянул в моей небольшой голове. Еще сутки — и я останусь наедине с собой. Управлюсь ли? Туда ли еду? Ту ли дорогу выбираю?

Я вышел со двора, сказавшись, что пройдусь немного по любимым улицам, но ничего тогда вокруг себя так и не заметил.

Конечно, я рвался к тому, что мне казалось моим выбором. И маленький альбомчик был готов, куда вклеены мои первые газетные заметки. И рекомендательное письмо из редакции. А я содрогался — и не мог понять, где моя отвага, а где глупость? Все это, вместе взятое, называется неуверенностью.

В свои семнадцать лет, даже слегка ощутив войну, я все-таки был простым домашним котенком.

Бывало, оставшись дома один, читал стихи в полный голос, будто артист на какой-то большой сцене. Громко высказывал мнения, в общем-то, вычитанные в классических сочинениях, словно знаменитый профессор. А устав от собственной напыщенности, сворачивался калачиком на кровати и только что не мурлыкал, как кот мой Тимошка: строил в мечтах воздушные замки, которые разлетались во прах при первом же легком дуновении действительности.

Еще я любил становиться вверх ногами. Встанешь возле шифоньера — постоишь, прислонясь пятками к его дверце, потом вернешься в обычное состояние. И сразу приходят свежие мысли. Кровь приливает и, наверное, приносит их, а?

Вот таким я был в первые недели после школы: смесь оптимизма и неуверенности, страха и отваги. Но и взрослого понимания: назад ходу нет!

4

А пока я свершал прощальный круговорот по родным околоткам, мама и бабушка обтерли фанерный чемодан тряпицей, будто умыли. Принялись меня собирать, то всхлипывая, то смеясь.

Тот фронтовой чемодан, с которым отец вышел из войны, был сбит из какой-то на редкость толстой и сухой фанеры, покрашен в обыкновенный серый цвет, каким красят ящики для артиллерийских приборов, и имел простецкий, на один поворот ключа, замок. Его, наверное, можно было просто открыть загнутым гвоздем.

Но кто на такой чемоданишко позарится? В эпоху рыночных карманников, уличных щипачей и легенд о грабителях даже самый непонятливый соображал, что ничто ценного в фанерных чемоданах не перевозят. Все мое имущество и состояло из трех частей «Истории СССР», учебников литературы, русского, географии и французского плюс кое-какие тетради, а сверху — трусов, носок, маечек, да штук трех, пожалуй, небелых рубашек — чтобы реже стирать.

Серый друг, передаваемый мне отцом по наследству, снарядился в минуты, но так и стоял открытым, на стуле. Женщины не спешили его закрывать — вдруг еще чего-то забыто. Но мысли их были куда тоньше — теперь-то я это понимаю.

Пока чемодан не закрыт, еще есть время пособираться, похлопотать, поразговаривать о том и о сем, что прямого отношения к отъезду не имеет, но означает тайный ритуал беспокойства и приготовления. А щелкнул замок — все.



Но пока не щелкнул замок того чемодана, из вре-
мен уже нынешних, хочу попросить у тебя прощения,
мой верный друг! Прости меня!

Ты служил надежно и прочно, как ко всему готовый
солдат. Ни разу ты не треснул нигде, не надломился,
проучился со мной пять долгих лет, принимая в нутро
и нечистое бельишко мое до стирки, и высокоумные
конспекты классиков марксизма-ленинизма, и, бывало,
чуть позже, кое-какие продуктишки в тебе ночевали по
соседству со спортивными штанами, когда ехал в даль-
ние дали.

Ну а потом на смену тебе явилось нечто из фибры,
с железными углами, и ты удалился на отдых, улегся на
родительский чердак, а далее и вовсе ушел в небытие.
Кроме памяти моей.

А потому, пока есть я, жив в моей памяти и ты, се-
рый чемодан — отцовское фронтовое наследство.

Слабоватое, но все-таки утешение...

Ну а в тот вечер, при раскрытом чемодане, ба-
бушка взялась за еще одно важное предпутевое за-
нятие. Поверх рубашек я всегда надевал курточку
фасона «московка» — кокетка из темно-коричневой
ткани сверху, а все остальное — такая же ткань, толь-
ко посветлей. У ворота — короткая молния, чтобы
только, чуть раскрыв ее, голова проходила — стра-
шный дефицит были эти молнии. Словом, бабуш-

ка отняла у меня «московку» и стала колдовать над
ней. В конце труда своего пристроила изнутри моей
курточки внутренний карман. Он застегивался на от-
дельно пришитую пуговицу и предназначался для па-
спорта, аттестата зрелости, согнутого вчетверо, и
денег.

На прощанье наставила:

— В поезде ночью не снимай! Под голову не клади!
Нигде не бросай!

5

Воскресным утром начался штурм.

Героя, скажу честно, я совершенно не запом-
нил. Как и он не обратил на меня ровно никакого
внимания. Взрослые договорились между собой, а я
мог оставаться предметом неодушевленным. Когда
мама с отцом и я с чемоданом прибыли к вокзалу,
он, лишь кивнув мне, взял у мамы листочек расписа-
ния поездов, деньги и двинулся к двери, запружен-
ной народом.

Отец заторопился следом, но Герой его остановил:

— Слушай, ты в штатском. Только пуговицы ото-
рвут — и вся любовь!

Сам он был в гимнастерке с майорскими погонами и,
конечно, сверкающей звездой.

Мы стояли с краю толпы и следили, как наш Герой довольно беспрепятственно ее рассекает. Увидев человека в форме, да еще с такой наградой, люди расступались, пока он не добрался до ступенек. А там была неподвижная человеческая пробка, как в бутылке. Люди стояли, не двигаясь, а шевеление рядов происходило только в особенных случаях. Но минут за двадцать до прихода поезда пробка проскакивала вовнутрь, кассы продавали билеты на освобождающиеся места — если таковые объявлялись. И еще, очередь оживала, если вдруг приезжал наряд милиции — по заказу кассирш этих, что ли? Или ихних начальников? Мильтоны требовали освободить ступеньки и даже все, что там было внутри. Двери закрывали, туда пробирались тетки со швабрами. Воняло хлоркой.

Вот перед этой процедурой на площади и начиналось настоящее волнение. Народ, выпертый из кассового зала, отступал на улицу, очередь расстраивалась, очередники теряли, кто за кем стоял, начинался ор и колыбание душ. Постепенно, хоть и со слезами, криками, матом, волнение утихало.

А Герой с майорскими погонами оказался настоящим! Мы издали увидели, как он локтями растолкал пробку при входе и исчез во тьме распахнутых врат ада.

Мы были на обочине, мама присела на чемодан, а я приблизился к отцу. Мне хотелось к нему прислониться, но это получилось бы слишком по-детски — я ведь уже взрослый, уезжаю в институт.

И давно ли я приходил на этот вокзал узнать, когда придет поезд с отцом из Маньчжурии! Давно ли скрипнула калитка, и он вошел — с вещмешком на плече и со своим фанерным этим чемоданом в руке.

Я подумал, что в ту пору все-таки на вокзале не было столько народу! После войны народ еще чего-то ждал, наверное. Но вот ведь немало лет прошло, как война-то кончилась, и тут все поехали? Куда? Зачем так много?

Люди на тогдашней громадной площади, стоявшие в кассы, одеты были плохо: женщины — в неновые платья — откуда новые? — мужчины — в затертые пиджаки, несвежую обувь. И невесело они вместе-то выглядели, разве кто спяну хохотнет. И все же эта серая цветом толпа бродила, как бродит брага, — каким-то нетерпением. Ведь каждый, кто стоял тут, собрался переместиться в другое место, выбрал ему известную цель и теперь к ней стремился, одолевая препятствия в виде бесконечной, вынужденной очереди.

— Куда они все? — спросил я не столько отца, сколько самого себя.

А он ответил:

— Рыба ищет где глубже, сынок. А человек — где лучше.

Мы стояли, мы ходили вокруг серого чемодана, а Герой не возвращался. Мы не отрывали взгляды от входа, и один раз милиция освободила помещение, создав воронку из страждущих очередников, а тетки с ведрами и швабрами строем продрались сквозь людей. Однако Герой не вышел и тогда.

Похоже, к перрону подошли сразу два поезда, следующую в противоположных направлениях, но очередь лишь чуточку всколыхнулась: значит, места не освободились. Никто, выходит, не стремился в наши благоденственные края.

Опять все обездвижело. Где-то вдалеке взвизгивала маневровая кукушка и гулко бились буферами товарные вагоны.

И вот в это вдруг как-то притихшее время пробка шевельнулась и выпустила на площадь нашего Героя. Пока он пробирался к нам, раза два поправил офицерскую свою фуражку, заправил за ремень гимнастерку. Подошел совершенно спокойный — только беспокойной была звездочка на его груди. Она перевернулась спинкой кверху, и мне хотелось ее поправить или сказать ему об этом.

— Ну, — проговорил он бодро, — отделались легко! Сейчас подойдет поезд. Вагон общий! Может, придется всю дорогу сидеть, лежащих мест нет! Извините!

Вот когда узнаешь, что такое настоящие люди. Я трепыхался, как воробей в ладони, молча кивал головой, готовый к любым испытаниям, а мама протянула руку и поправила Герою его звездочку.

— А! — махнул он рукой. — Сколько всего-то? — глянул на часы. — Уже три! — Повторил: — Отделались легко!

И протянул мне маленький картонный прямоугольник, прибавив с усмешкой:

— Смотри не потеряй! Пока не приедешь!

Не знаю, как и описать все, что произошло дальше. Поезд во главе с паровозом «ИС», то есть «Иосиф Сталин», погромыхивая, вступил на нашу станцию, солидно протащил вагоны до нужного места, и мы вчетвером, во главе с Героем, быстро достигли искомой ступеньки, ведущей в зев жаркого короба. Но не тут-то было.

Из него, не пропуская нас, вниз кинулась цепь разнообразного народа. Сначала полуголые или одетые в майки мужики с чайниками, потом женщины помоложе, за ними старухи. У кранов, торчащих из стены какого-то перронного сооружения, лилась вода для питья, и там опять собралась толпа.

Только пропустив вереницу жаждущих, Герой вспрыгнул на ступеньку и протянул руку за моим чемо-

даном. Проводница со свернутыми флажками в руке, увидев Героя, запричитала, закудахтала:

— Ой, товарищ майор, да у нас и ни одного лежачего-то места нет! Все битком!

Она двигалась вдоль вагона, а справа и слева то верещали дети, то хохотали тетки нерусской наружности, может, цыганки, а в одном проеме два мужика резались в карты.

— А третьи полки есть? — командным голосом спросил мой Герой.

— Багажные?

— Багаж сдвинуть, место освободить! — скомандовал мой покровитель, встал на одну из нижних полок, с верхней перекинул на другую какие-то котомки, умяв их как следует. На свободную багажную полку закинул мой чемодан.

— Товарищ Герой, — заботилась проводница, — ну я вас попозже пересажу!

— Еду не я! — отрезал майор. — А молодой человек!

И прибавил такое, что я похолодел:

— Обеспечьте безопасность!

Герой велел мне занимать место на третьей полке немедленно, что я и сделал, улегся под самым потолком. А мама-то с отцом ведь были на перроне! Полуголые мужики с чайниками возвращались обратно, с хохотом и матом, отталкивая нерешительных локтями. Но Герой, видать, выходя из вагона, остановил их, и мама с отцом пришли ко мне. Я прыгнул вниз, мы обнялись. Мама заплакала.

— Он так и будет? На голой полке? Без подушки?

— Ну тут ехать, — смутился отец, — меньше суток. Выдержишь, сынок?

Я улыбался. И прижался к ним — к маме и к отцу. Но только на мгновенье, ведь я был, в общем, взрослый человек.

Мужики и тетки с чайниками в руках обходили нас, толкали моих провожающих, и я стал поторапливать их.

Когда поезд лязгнул своими железными суставами, я запоздало сообразил, что даже не поблагодарил моего великодушного Героя.

7

Может, мне передались женские страхи — ведь я ехал первый раз в жизни один, в душном и шумном вагоне, опасном людьми, его населявшими. Слышались восклицания, может быть, и веселье, но непомерно громкие, вспыхивали детские крики, перебивали друг друга бабьи споры.

Правда, меня это не очень достигало. Я был приравнен к багажу, и мне начинало нравиться мое

положение. Я разглядывал железный потолок, нависший надо мной, — окно и даже вторая полка располагались гораздо ниже, — и мысли мои гуляли как маленькие и, может, даже слепые новорожденные котят, тычась друг в друга и издавая неслышимый миру писк.

Я чего-то очень желал, но не мог понять — чего. Вернуться домой, под крылья хлопотуны-бабушки и всегда беспокойной мамы? Нет, не для этого уезжал — отъезд мой был сочинен мной самим. Благополучно сдать экзамены? Конечно, ради чего тогда эти хлопоты? Мне бы, взрослому парню, подумать, что произойдет, если не поступлю, но — странное дело! — сознание не позволяло переходить какие-то незримые черты возможных поражений.

Я пытался возвратиться в мыслях к друзьям и одноклассникам, которые — кто разъехался, как я, поступать, кто еще не добрался до края школы и с почтением взирал нам вослед, ожидая сообщений о том, кто чего стоит. Но они меня совершенно не задевали. Я внятно и совсем по-взрослому понимал, что сейчас каждый ответит за себя, а раз все мои дружки наладились в технические знания, я забыл о них, будто и не был с ними знаком. Надо же, какая анестезия!

В общем, вагон покачивало, потряхивало, стенки его довоенные поскрипывали, а мне ни о чем не думалось. И вот только теперь, спустя целую жизнь, я полагаю, что это была мудрая благодать.

Да, я ни о чем не думал, ни о чем не тревожился, и только неопытностью это нельзя объяснить. Молодое, еще ничем не траченное тело встряхивалось на багажной полке и было безмятежным, приуговляясь к будущему.

Перемещение народов, судя по всему, происходило не только во времени и пространстве, что утверждала жизнь нашего вагона. Но еще и в собственной глубине.

Из детства, ни о чем не тревожась, я окончательно переезжал в юность — иную часть бытия. Из одного состояния я переходил в состояние совсем другое.

8

Переход этот оказался отнюдь не философским, не умственным, а грубым и материальным. И состоялся ночью.

Поезд прибыл где-то около двух ночи, дальше не шел, и народ отчего-то молча и сосредоточенно, без оживленного тарабара, стал ловко освобождать пространство.

Я не спешил, до утра было далеко и меня никто не встречал. В заднем кармане моих брюк, тоже под пу-

говкой, таилась бумажка, на которой указывался номер трамвая, потом улица, номер дома и квартиры старушки Елизаветы Михайловны, опять же дальней родственницы все той же вездесущей маминной подруги тети Лены. Переться к старушке ночью казалось мне совершенно неучтивым, и я предполагал сдать чемодан в камеру хранения, переночевать на вокзале, а уж утром...

Поэтому без всякой спешки, отстав от толпы, я понес свой чемодан по слабо освещенному тоннелю в неясную для меня сторону, когда вдруг ко мне подскочил не совсем трезвый мужик в казенном фартуке и с бляхой на груди.

Схватив мой чемодан за бока — ручку-то я не отпустил — он воскликнул что-то повелительное и поволок меня к огромным весам. Четверо или пятеро таких же, похожих на бандюков, но с бляхами мужчин галдели, отпуская от весов некоторых других пассажиров, в особенности старух, а мне этот нетрезвый работник громко крикнул:

— Разрешается бесплатно двадцать кило. У тебя тридцать. Доплати двадцать пять рублей.

Лирические наваждения отпустили меня. Растерянный, я спросил:

— Куда платить?

— В кассу! — заодно ответил тот.

— А где касса?

— В здании вокзала, на первом этаже. Чемоданчик придется оставить.

Я сразу понял, что меня прищемили. Оставить чемодан, уйти в кассу, а потом? Мордатый подсказал:

— Можно поближе!

— Как? — спросил я, все еще наивный.

— А прямо сюда! — проговорил он, хлопнув доходчиво себя по пузу.

Вот он — момент перехода из одного состояния в другое! Обыкновенный факт перемещения народов, который не может не сопровождаться — кому потеряи, кому — находками.

В первый раз я практически ощутил бабушкину мудрость. Распахнул ворот «московки», отстегнул пуговку, запиравшую внутренний карман, и на ощупь выбрал денежку размером поменьше. Это был тогдашний голубой четвертной банковский билет с портретом Ильича.

Я протянул ассигнацию хаму с бляхой, тот хапнул ее мгновенным и тренированным движением и скинул чемодан на асфальт так, что тот должен был, наверное, расколоться. Но он выдержал, молодчик, как, впрочем, и я.

Очереди в камеру хранения не было, и там тоже орудовали крепкие мужики. Цена тут, однако, была

снисходительна к пассажирам, наверное, потому, что вместо чемодана выдавалась бумажка с номером, и, заплатив какую-то мелочь, я оказался совершенно свободен.

Ночь была как ночь, на огромной площади возле вокзала скучал ряд невостребованных такси с зелеными огоньками, зато сам вокзал сиял дворцовыми окнами, будто там совершался великолепный бал. Конечно! Тот самый бал, куда много званых, да мало призванных!

Я вступил в него, и мне показалось, что я вошел в громадный вагон: тот же смрад, тяжелая духота, ароматы несвежих портянок и немытого туалета. Всюду стояли громадные лавки совершенно могущественного вида. Коричневые, с толстенными и просторными площадками для сиденья и даже вещей и с такими же спинками, они могли выдержать, наверное, целую толпу самых тяжелых пассажиров. Только таких здесь не было, а сидело множество тощих и худых, с сумками и мешками, которые стояли и лежали у них под спиной, под локтями, а то и на полу, прямо под ногами.

И все они спали, будто в какой-то страшной сказке!

Ну некоторые не спали, все-таки. То одна, то другая тетка уторкивали младенцев, кормили их из кружек или грудью. Но все остальные дрыхли. Некоторые еще и храпели.

Я постоял в одном зале — все места оказались заняты. Перешел в другой, поменьше. Ни одного места на лавках! В третьем зале я увидел каменную лестницу, расположенную подковой, и ее ступеньки, особенно те, что повыше, были свободны. Я поднялся туда, сел, прижался к каменным же перилам.

Зал освещался ярко, даже празднично, но то, что освещалось, навевало тоску.

Мне показалось даже, что это люди с привокзальной площади нашего городка каким-то волшебным образом переместились сюда. Только расстегнулись, рассупонились, развязали ремешки и тесемки, устроили рядом с собой свое барахло. Один спит, запрокинув голову, а ноги взгромоздив на тугой мешок. Женщина обняла чемодан и опустила на него голову. Старуха положила голову на колени молодой женщине. И все эти люди, как и я, одеты в одежды темного цвета. Ничего красного, ничего голубого, зеленого, желтого, хотя живем на яркой земле, — только черное, коричневое и серое. Но зачем же тогда такой дворец под вокзал?

И еще я, грешным и совсем не детским умом, подумал — вот бы нарисовал все это хороший художник! Все эти согнутые фигуры, эти чемоданчики, мешки, сумки и шеи. Лица с закрытыми глазами.

Будто какое-то предсмертие...

Копаясь в своих размышлениях, я не сразу заметил, что к спящим, особенно на лестнице, где я сидел, осторожно подсаживаются молодые ребята в кепа-риках. И еще девчонки. Сверху все было хорошо видно, и тут я похолодел. Да ведь они воруют! Лезут пальцами в карманы! У кого-то что-то достают. От других отходят впустую.

Я остолбенело разглядывал сверху шайку, похожую на кучку неслышных теней. Оттого, что был наверху и глядел им в спины, я так и не увидел ни одного лица — только затылки, пучки волос, затянутые шпильками, ну разве щеку видно со спины. Я видел, как они тихо прокатились по залу. Сверкнуло лезвие — раньше я слышал от кого-то: вырезают карманы. Гибкие, ловкие, торопливые воры даже шелеста не издав, исчезли, будто наваждение.

Я сидел, затаив дыхание. Полегоньку успокоился, ведь мне велено было ни во что не соваться в незнакомых местах. Почему-то это знала бабушка. Отец сказал по-другому: после смерти Сталина объявили амнистию. Отпустят всякую шваль.

Но это была не та шваль.

9

За дворцовыми окнами зарозовел рассвет, и люди стали оживать. Сначала тишину оборвал женский визг — будто какой-то звонок. Послышался плач. Зал очнулся по этой команде, и крики раздалась еще — в разных его концах. Притопали в кирзовых сапогах два мильтона. Они что-то спрашивали, им отвечали женщины и старухи — почему-то только они, — и эти полусогнутые фигуры, с воздетыми или разведенными руками, дежурные милиционеры с красными погонями, оглядывающие зал, но никуда не стремящиеся, мне вдруг показались схожим с чем-то.

Хладным умом, вовсе не похожим на мой, я подумал, что это вроде немой сцены в «Ревизоре» Гоголя, только там они все стоят недвижимо, но ведь таков закон театра, а не жизни. В жизни машут руками, говорят, передвигаются, голосят и бормочут. А толк все тот же — не знают, как быть!..

Пострадавшие стали исчезать под руководством дежурных, наверное, составлять протоколы, остальные тоже потихоньку потянулись к дверям. Я забрал чемодан из камеры хранения, потом влез в трамвай и довольно скоро добрался до нужного дома, подъезда, квартиры.

Город за трамвайным окном не поддавался скорой привязанности. Угрюмые дома вдоль трамвайных путей симпатий не рождали, но нескорая дорога открывала и приятные взору уголки — деревянные домишки, почти деревенские, утопающие в зелени. Потом я заглядел-

ся на высокий, с колоннами, белокаменный дом и сам себе кивнул головой, когда кондукторша трамвая объявила остановку: «Дворец пионеров». Далее, выйдя, пошли главные улицы и пруд, окаймленный домами с полукруглыми или прямыми стенами, — и это, я знал, была уже наша, довоенная эпоха.

Тетя Лиза оказалась худенькой — в чем душа держится! — старушкой, коротко стриженной, с как будто выцветшими светлыми глазами, весьма деликатной и до странности любезной. Про меня предупреждена и потому приготовлен диван с комплектом белья, отдельное хрустящее полотенце, только вот мыло обещанное — извинилась она.

Меня усадили за чай с бутербродами, но в дверь позвонили, и кто-то из-за порога спросил тетю Лизу:

— Не приехал?

— Как раз и приехал! Заходи, Герман!

Я даже привстал, пораженный. По ту сторону стола стоял парень едва постарше меня, но вместо рук у него были две расщепленные культы.

Лицо у него гляделось совершенно хулиганским: очень узкий лоб, черная челка, совсем его закрывающая, такие же черные, сверлящие глаза, не до конца застегнутая рубашка. Правда, это хулиганское лицо еще и сияло! Он то едва улыбался, то растягивал рот широченной улыбкой, то как-то забавно морщился, но все это оживление казалось лукавым, каким-то неправдивым.

— Садись, Герман, — сказала тетя Лиза, — попей чайку!

Я не понимал, как он станет пить чай, но Герман ухватился обеими клешнями за чашечку ипил, как все, прихлебывая от удовольствия. А тетя Лиза произнесла с большим чувством гордости:

— Я попросила Геру зайти, если ты приедешь сегодня, и помочь добраться до университета. Он, — поглядела на него с гордостью, — учится на втором курсе иняза! Английский язык! Уже сейчас знает его блестяще!

— Пойду на красный диплом, тетя Лиза! — воскликнул он и, как будто лично мне объясняя, прибавил: — А что мне остается?

Потом, после чая, пока мы шли к трамвайной остановке, он рассказал, что лет в девять, когда была война, он попал под этот самый трамвай, цеплялся таким проволочным крюком и носился за ним, как оголтелый, но потом споткнулся, выдать, на бульжнике, и его занесло под встречный вагон, а дальше он ничего не запомнил, но выжил, хорошо учился, а теперь форсит среди почти одних девчонок. Известно, что в инязе учатся исключительно девахи.

— Боюсь, — смеялся по-мужицки Герман, — испортят меня! Такие все вокруг вежливые да заботливые! А я, может, зверь!



Посмеиваясь, он показал мне дорогу, по которой опять же ходили трамваи, и я снова разглядывал этот чужой мне город, который взирал на меня без всякого сочувствия, равнодушными домами и серыми стенами.

Доехав до нужной остановки, я быстро оказался в приемной комиссии. А при входе пригласил шаги у обыкновенной вывески: «Государственный университет имени А. М. Горького». Меня обдало сладостным холодком. Страх и гордость соединились воедино.

Было рано, а потому пусто, и я подсел к столику, где пожилая женщина, похожая на учительницу преклонного возраста, дружелюбно спросила мой вызов, выдала экзаменационный листок с моей фотографией, утвержденной печатью, и спросила:

— Чего-то желаете еще добавить в свое дело?

И здесь наступила решительная минута. Я протянул ей рекомендацию из редакции. И мое сокровище — маленький альбомчик с темно-синей обложкой, под цвет, наверное, моих штанов. В нем, аккуратно наклеенные,

хранились мои скромные заметки, напечатанные в газетах. А одна — даже в «Комсомольской правде».

Учительского вида тетенька приняла его в свои руки и самым внимательным образом пролистала все странички.

— Вы посидите, я на минуточку!

Ровно через минуточку она попросила меня пройти в другую комнату, точнее, в такой закуток, примыкающий к комиссии, даже, кажется, без отдельной двери.

Там сидел вообще-то не очень приветливый человек. Он кивнул мне, листая мой альбомчик, а мне стало нехорошо от этого его листания. Как мне показалось, пренебрежительного.

Впрочем, я и сам не знал, как нужно было относиться ко всему моему примитивному сочинительству. Никто мне никогда про это ничего не говорил. Мама если и хвалила за это, то из чувства успокоения, что я по улицам не шляюсь, а хоть что-нибудь интересное для себя выдумал. А там...

И вот я сидел перед этим невзрачным оценщиком. А он мне говорил совсем другое.

— Вам общежитие нужно? На время экзаменов?

— Да, — отвечал я.

— Тогда возьмите направление на санобработку и там же направление в общежитие, а то вас без санобработки туда не возьмут.

Я ни черта не понимал! Какая санобработка?!

— Не удивляйтесь! — сказал дядька благодущно. — Так положено! А альбомчик ваш мы оставляем. Он будет в вашем деле!

Я вышел от него слегка ошарашенный, смущенный, растерянный. А когда человек теряется, как известно, ему даруется нечто иное. И если не прямо противоположное — уверенностью одарить непросто, — то что-то обнадеживающее. Или просто смешное.

Когда я вышел от начальника, внимательная учительница протянула мне две бумажки и кивнула на девицу, стоящую у нее за плечом.

— Вот девушка! Как вас? Люсетта? Она тоже с вашего потока. И ей тоже требуется в общежитие! Так что шагайте на санобработку!

И хохотнула. Я улыбнулся, ничего не поняв. Что такое санобработка?

10

А девушка Люсетта была вполне ничего себе — с пушистыми, коротко стриженными светлыми волосами. Хорошо одета, вовсе не в темные цвета, что-то было на ней, помнится, цветастое, может быть, широкий голубой воротник на платье в такой же горошек?

Но мне было не до девушек, как и ей, похоже, не до парней. Мы оба двигались на санобработку, и не куда-нибудь, а в городскую баню, и даже мысль о бане способна была взорвать кого хочешь. Разве это не курам на смех: парочка незнакомых абитуриентов чуть ли не за ручку идет в баню!

Но обсуждать благоглупости не приходилось.

И мы шли, получая взаимную деловую информацию людей, стремящихся к одной цели. Она была из южной республики, отличница, не получившая медаль по чистой случайности и совершенно уверенная в успешности грядущего испытания.

— Ты печаталась? — спросил я ее, скорее, чтоб сгладить небрежность мужчины в приемной комиссии.

Она испугалась:

— Нет! А это обязательно?

— Да нет, — ответил я, справедливо оценивая ее испуг, — вовсе не обязательно.

Городская баня, конечно, не обладала никакими особыми достоинствами. Но когда мы зашли в фойе,

растерялись: двери направо — мужское отделение, налево — женское. Люсетта вежливо спросила у кассирши:

— А санобработка — это где?

— Со двора! — крикнула она из окошечка. — Второй этаж!

Я облегченно перевел дух. Все-таки это не баня.

Мы двинулись в обход, дорожка оказалась узкой, и я, как мужчина, шел на разведку первым. Так первым и вошел на пустую лестницу. Люсетта двигалась за мной. Наверное, желая быть уверенным в себе, а то и знающим неведомое дело, я обогнал ее буквально на пару шагов, и на втором, как указано, этаже, галантно распахнул перед дамой довольно неказистую дверь.

Дверь была без пружин, крашенная масляной белой краской, довольно разношенная и усталая от беспрепятственных раскрытий — так вот дверь эта легко распахнулась, и я обомлел.

Помещение за дверью был забито женщинами. Даже, пожалуй, просто девчонками. И девчонками совершенно голыми!

Они стояли, сидели, ходили, но на открывшуюся, даже без скрипа, дверь все обернулись.

И захохотали!

Боже мой, это они смеялись надо мной, наверное, увидев мою изумленную, пораженную, бестолковую физиономию!

Они хохотали, и больше ничего. Люсетта легонько подвинула меня, прошла мимо и прикрыла дверь. Тогда захохотал я. С полуминутным опозданием. И совершенно безумно!

Замечали? И смех, и страх, когда нападают внезапно, особенно лицом в лицо, сначала завораживают своей неожиданностью, а уж потом лютуют в твоём нутре изо всех сил.

Я даже не хохотал! Я сломался пополам! Я, кажется, икал со смеха! Я валился с ног! Я бился о стенки! Я не утих, даже когда Люсетта, выглянув из двери, крикнула мне:

— Мужское отделение выше!

С трудом взобравшись на третий этаж, я, наученный опытом, слегка приоткрыл дверь, а уж потом вошел. Там сидели голые мужики. Тоже, главным образом, парни.

Вид у меня, похоже, был довольно несерьезный, а в таких случаях люди постарше всегда норовят тебя осадить. Худой, и так-то, видать, вредный старик в темно-синем халате, глянув на меня, велел раздеваться до основания и всю одежду, кроме ремня, навесить на большое кольцо из толстой проволоки.

— Исключая носки.

— А ботинки? — поинтересовался я.

— Ты что? — построжал он. — Чумной?

— А чумных не дезинфицируют? — не унимался я.

Короче, через минуту я сдал все свое насущное натянутым на кольцо, и все это имущество, прищепленное к стальной стойке, вместе с тряпьем остальных граждан мужского пола, уехало за черную заслонку.

Мы остались голыми, без всяких полотенец, без мыла, а перейти и помыться следовало в соседний отсек. Там лилась из десятка душей горячая и холодная вода, а в ведрах чернела какая-то гадость. Мужики, помятовавшись, признали ее дегтярным мылом, кто-то из старших попробовал использовать его, но другой, из старших, крикнул ему:

— Неделю сапогами будешь вонять!

Меня это охолонуло. И снова включило мой подутихий было смех. Я захохотал, и, конечно, не над запахами мужиков, а над тем, как вляпался в бабье отделение!

Но никто не понимал моего смеха!

11

Санобработкой, в общем, оказалось не столько наше мытье, сколько прожарка штанов, рубашек, курток и прочего вещевого имущества. Поскольку я пропустил эту важную деталь, то объясню, что деньги и паспорта выкладывались отдельно в потертые мешочки и сдавались злобной тетке несвежего вида. Представьте, почему бы ей и не злиться: голые мужики сдают деньги, а потом она выдает их обратно, тщательно вглядываясь в каждую физиономию, не имеющую примет. Трудно ли тут обмануться?

Так что злой эта женщина была по справедливости, прожаренные штаны сразу одевать, оказывается, невозможно — так они прокалились вместе со вшами и гнидами, — и смешливое мое состояние, нежданно явившись, так же нежданно угасло. Жизнь продолжалась. Натянув «московку», вложив в потайной карман паспорт и наличность, я отправился в обожетие.

Оказалось, это просто огромные аудитории. Их освободили от столов и лавок и поставили желез-

ные армейские койки на проволочной сетке. К каждой прилагался матрац, подушка, простыня и одеяло. За все не брали ни копейки, только вписывали номер твоего экзаменационного листка, а с ним и паспорта: далеко не убежишь! Да и куда бежать-то с этим бархлом?

Словом, я бросил якорь, получил место, заправил кровать, вернулся к тете Лизе и под старушечьи ахи и вздохи, правда, перекусив и забрав чемодан, удалился в пространство, которое осваивало человек тридцать.

Этот народ поступал на разные факультеты в разных зданиях, с утра убирался туда, возвращаясь к ночи, перечитывать учебники тоже предполагалось порознь, так что мы только кивали друг дружке, мол, я тебя помню, мы из одной комнаты. И все.

Я обходил незнакомый пространственный дом, запоминая двери, углы, повороты, и тем походил на молодого песика, осваивающего новое жилье. Забавное дело, помещения, где мы ночевали, соседствовали с пространствами, приготовленными для экзаменов, а дальше снова шли временные спальни — уже для девчонок, и очень просто было вляпаться в новую глупую историю. Тем более что не на всех дверях были приделаны хоть какие-нибудь номера.

Столовка на нижнем этаже оказалась запертой, и встречные старожилы поясняли, что лучше бы идти в главный корпус, но он в двух трамвайных остановках — мимо той, исторической, бани.

Потом кто-то отыскал столовку горного института — гораздо ближе, и я стал навещать туда. Но главной моей столовкой оказался мой серый чемодан. Я покупал батон колбасы, чайник в зале нашем имелся, и утро с вечером у меня получались вполне съестные, хотя и однообразные. Остатки продовольствия я заворачивал в газету и складывал в неприхотливое и привычное мое хранилище. Чемодан же стоял под кроватью, довольно голым таким образом, потому что с койки ничего не свисало и он, овеваемый сквозняками, не мог утаиться от посторонних взглядов. Впрочем, это касалось каждого чемодана под всякой кроватью.

Продолжение следует.

